

Ожидание

*Жизнь есть мгновение,
Мгновение есть жизнь.*

Лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть, вагон несло, качало среди северной тьмы зимних лесов, мерзло визжали колеса под полом, будто потягивало, тянуло постель то вправо, то влево, и было мне тоскливо и одиноко в холодноватом двухместном купе, и я торопил бешеный бег поезда: скорей, скорей домой!

И вдруг поразился: о как часто я ожидал тот или иной день, как неблагоприятно отсчитывал время, подгоняя его, уничтожая его одержимым нетерпением! Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось, что почти никогда в прожитой молодости

я не жалел, не осознавал утекающего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность, а та каждодневная земная жизнь — замедленная, ненастоящая — имела лишь отдельные вехи радости, все остальное представлялось настоящими промежутками, бесполезными расстояниями, прогонами от станции к станции.

Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году, я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть ее, с портфельчиком, в легоньком платьице, в белых носочках, аккуратно ступающую по плитам тротуара мимо ворот нашего дома. Я ждал того момента, когда она пройдет возле меня, и, омертвев, с презрительной улыбкой влюбленного мальчика наслаждался высокомерным видом ее вздернутого носа, веснушчатого лица, и затем с той же тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички, раскачивающиеся на прямой напряженной спине. Тогда ничего не существовало кроме кратких минут этой встречи, как не существовало и в юности реального бытия тех прикосновений, стояния в подъезде около паровой батареи, когда я ощущал сокровенное тепло ее тела, влагу ее зубов, ее податливые губы, вспухшие в болезненной неутоленности поцелуев. И мы оба, молодые, сильные, изнемогали от неразрешенной до конца нежности, как в сладкой попытке: ее колени прижаты к моим коленям, и, отрешенные от всего человечества, одни на лестничной площадке, под тусклой лампочкой, мы были на последней грани близости, но не переступали эту грань — нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты.

За окном исчезали обыденные закономерности, движение земли, созвездий, переставал падать снег над рассветными переулками Замоскворечья, хотя он падал и падал, будто в белой пустоте заваливая мостовые; переставала существовать сама жизнь, и не было смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти, уже не были подвластны ни времени, ни пространству, — мы создавали, творили что-то особенно главное, сущее, в котором рождалась совсем иная жизнь и совсем иная смерть, неизмеримые сроком двадцатого столетия. Мы возвращались куда-то назад, в бездну первозданной любви, толкнувшие мужчину к женщине, раскрывшие перед ними веру в бессмертие.

Гораздо позднее я понял, что любовь мужчины к женщине есть акт творчества, где оба чувствуют себя святейшими богами, и присутствие власти любви делает человека не покорителем, а безоружным властелином, подчиненным всеобъемлющей доброте природы.

И если бы спросили тогда, согласен ли, готов ли ради встреч с ней в том подъезде, возле паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради ее губ, ее дыхания отдать несколько лет своей жизни, я ответил бы с восторгом: да, готов!..

Иногда думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, мучительным сроком прерванного свидания с радостью, то есть все, что мы делали, было за дальними границами любви. А впереди, за пожарами задымленного, прорезанного пулеметными трассами горизонта, манила нас надежда на облегчение, мысль о тепле в тихом домике среди леса или на берегу реки, где должна произойти какая-то встреча с незавершенным прошлым и недостижимым будущим. Терпеливое ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе с тем очищало наши души от смрада висящей над окопами смерти.

Я помню первый успех в жизни и предвещающий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долгожданного мною. Я бросил трубку телефона после разговора (никого не было дома) и воскликнул в приливе счастья: «Черт возьми, наконец-то!» И подпрыгнул молодым козлом возле телефона, и на-

чал ходить по комнате, разговаривая сам с собой, потирая грудь. Если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту со стороны, то подумал бы, вероятно, что перед ним сумасшедший мальчишка. Однако я не сошел с ума, я просто был на пороге того, что представляло важнейшей вехой моей судьбы.

До знаменательного дня, когда должен был я полностью удовлетвориться, ощутить собственное «я» счастливого человека, нужно было еще ждать не один месяц. И если бы опять спросили меня, отдал бы я часть своей жизни за сокращение времени, за то, чтобы приблизить желанную цель, я ответил бы без заминки: да, я готов сократить земной срок...

Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени?

И вот сейчас, прожив лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не испытываю былой радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата.

Почему? Я постарел? Устал?

Нет, теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего растворения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире, и я поздно осознаю: какая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием цели дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данной нам единый раз как драгоценный подарок.

И все-таки: чего я жду?..

Свет в окне

Январская метелица, скрип мерзлых тополей в переулке, верховой ветер гремел железом, срывал снежную пыль с карнизов, нес ее вдоль побеленных заборов, над свежими сугробами, а оно, это единственное в ночи окно, светилось зеленым уютным пятном и, всегда одинаково яркое, теплое, занавешенное, притягивало к себе, вызывало приятное ощущение неразгаданной тайны.

Неизменно каждый вечер меня встречал в переулке этот домашний маячок в деревянном домике, загороженный занавеской огонек настольной лампы — и я представлял натопленную комнату, стеллажи, заставленные книгами, по всем стенам, потертый коврик на полу перед диваном, письменный стол, стеклянный абажур лампы, распространяющий оранжевый круг в полумраке, и кого-то, мило сутуловатого, в старческих добрых морщинах, кто одиноко жил там, окруженный благословенным раем книг, листал их ласкающими пальцами, ходил по комнате шаркающей походкой, думал, работал до глубокой ночи за письменным столом, ничего не требуя от мира, от суетных его удовольствий. Но кто же он был — ученый, писатель? Кто?

Раз прошлой весной (в набухшей сыростью мартовской ночи всюду капало, тоненько звенели расколотые сосульки, фиолетовыми стеклышками отливали под месяцем незамерзшие лужицы на мостовой) я глядел на знакомое, бессонное окно, на ту же, зеленовато-теплую, освещенную изнутри занавеску, испытывая необоримое чувство. Мне хотелось подойти, постучать в стекло, увидеть колыханье отодвинутой занавески и его знакомое в моем воображении лицо, иссеченное сеточкой морщин вокруг прищуренных глаз, увидеть стол, заваленный листами

бумаги, внутренность комнатки, заполненной книгами, коврик на полу... Мне хотелось сказать, что я, наверное, ошибся номером дома, никак не найду нужную мне квартиру — примитивно солгать, чтобы хоть мельком заглянуть в пленительный этот воздух чистоплотного его жилья и работы в окружении книг, казалось, единственных его друзей.

Но я не решился, не постучал. И позднее не мог простить себе этого.

Нет, спустя два месяца ничего не изменилось, все было по-прежнему, а в тихоньком переулке была весна, майский вечер медленно темнел в глубине замоскворецких двориков; среди свежей молодой зелени зажигались фонари над заборами, майский жук с гудением потянул из дворика, ударился о стекло фонарного колпака, упал на тротуар, замер, потом задвигал ошеломленно лапками, пытаясь перевернуться. Тогда я помог ему, сказав зачем-то «Что ж ты?..» Он пополз по тротуару к стене дома, к водосточной трубе (она была в трех шагах от окна), почувствовал я какое-то внезапное неудобство, глянувшее на меня из майских сумерек.

Окно в домике не горело. Оно было как провал...

Что случилось?

Я дошел до конца переулка, постоял на углу, вернулся, надеясь увидеть знакомый свет в окне. Но окно сумрачно отблескивало стеклами, занавеска висела неподвижно, не теплилось на ней преоранжевое зарево, как бывало по вечерам, и в один миг все стало мертвенно неприятным, и показалось — там, в невидимой этой комнатке, произошло несчастье.

С беспокойством я опять дошел до угла, выкурил две сигареты и, уже подсолнательно торопясь, вернулся в переулок. Я внушал себе, что сейчас вспыхнет зеленый свет на занавеске и все в переулке станет обыденным, умиротворенным...

Свет в окне не зажегся.

А на следующий день я почти бегом завернул по дороге домой в соседний переулок, и здесь неожиданное открытие поразило меня. Окно было распахнуто, занавеска отдернута, выказывая нутро комнаты, книжные полки, какую-то карту на стене, — все это впервые увидел я, не раз представляя моего неизвестного друга за вечерней работой.

Пожилая женщина с мужским лицом и мужской прической стояла у письменного стола, курила, смотрела в пространство отсутствующими глазами.

Тотчас она заметила меня, рывком задернула занавеску — и шершавый холодок вполз в мою душу. И дом, и переулок, и окно представились мне ложными, незнакомыми.

И я понял, что случилось несчастье, что мой воображаемый друг, тот седенький старичок с шаркающей походкой, к которому так тянуло меня душевно, был нужен мне, как близкий друг.